

РОССИЙСКАЯ  
АКАДЕМИЯ НАУК

ИНСТИТУТ  
ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ

**НОВАЯ**  
**И**  
**НОВЕЙШАЯ**  
**ИСТОРИЯ**

№ 5

СЕНТЯБРЬ - ОКТЯБРЬ  
1993

ЖУРНАЛ ОСНОВАН  
В МАЕ 1957 ГОДА  
ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

**СО Д Е Р Ж А Н И Е**

**СТАТЬИ**

Могильницкий Б.Г. (Томск). Между объективизмом и релятивизмом. Дискусии в американской историографии .....	3
Мещеряков М.Т. Судьба интербригад в Испании по новым документам ...	18
Мальков В.Л. Большевики и "германское золото". Находки в архивах США .....	42
Альперович М.С. Завершение испанской колонизации Америки в XVIII в.	53

**ИЗ АРХИВА ПРЕЗИДЕНТА РФ**

Поездка В.М. Молотова в Берлин в ноябре 1940 г. Предисловие академика Г.Н. Севостьянова .....	64
---	----

**ПУБЛИКАЦИИ**

Тайна "Кента": судьба советского разведчика А.М. Гуревича .....	100
---	-----

**ВОСПОМИНАНИЯ**

Солдатов А.А. Ю.А. Гагарин в Англии. Июль 1961 г. ....	116
--	-----

**ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ОЧЕРКИ**

Патрушев А.И. Жизнь и драма Фридриха Ницше .....	120
Олаво-Эренья А. (Испания). Испанский король и попытки спасения семьи Николая II .....	152
Троицкий Н.А. (Саратов). Маршалы Наполеона .....	166

**ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ ИСТОРИКА**

Борисов Ю.В. А.З. Манфред. Штрихи к портрету .....	179
--	-----



"НАУКА" • МОСКВА

## МЕЖДУ ОБЪЕКТИВИЗМОМ И РЕЛЯТИВИЗМОМ: ДИСКУССИИ В СОВРЕМЕННОЙ АМЕРИКАНСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ

Правомерность и необходимость анализа теоретических дискуссий, ведущихся в исторической литературе США, прежде всего эпистемологических<sup>1</sup>, обусловливается рядом обстоятельств. Растущий отказ отечественных историков от былой "философской самоуверенности", выразившейся в претензии на монопольное обладание истиной в последней инстанции, неизбежно влечет за собой пересмотр устоявшейся в нашей науке однозначно негативной оценки исторического релятивизма как методологического принципа, враждебного подлинной науке. Особый интерес в этом плане представляет американская историография XX в., где релятивистские теории получили основательную разработку. В то же время здесь всегда сохранялась сильная оппозиция историческому релятивизму. Исследование многолетних, подчас весьма напряженных дискуссий между релятивистами и их оппонентами позволяет особенно рельефно представить как возможности релятивистского подхода к осмыслению природы исторического познания, так и его границы.

Отметим, что именно с релятивизмом связаны выход американской историографии на широкую международную сцену, преодоление известного провинциализма, который в значительной мере был ей присущ в прошлом столетии, в особенности в области исторической эпистемологии. Здесь вплоть до начала XX в. почти безраздельно царили идеи Л. Ранке, не случайно ставшего первым почетным членом Американской исторической ассоциации. И хотя уже в рамках "новой истории" начала XX в. можно заметить присутствие определенного вызова ранкеанской идее объективности как идеалу исторического познания, действительный разрыв с этой идеей происходит лишь в 20–30-е годы – период своего рода релятивистской революции, связанной прежде всего с именами К. Беккера и Ч. Бирда и оказавшей большое влияние на всю последующую историко-методологическую мысль.

Крушение ранкеански-позитивистской идеи объективности явилось закономерным результатом внутреннего развития исторической науки, усложнения ее проблематики, становящейся все более очевидной активной роли познающего субъекта в процессе познания. Вместе с тем не в меньшей мере оно было органическим следствием таких событий всемирно-исторического масштаба, какими являлись первая мировая война и Октябрьская революция, породившие широкие представления о непредсказуемости истории, ее бессмысленности, а осознание бессмысленности истории неизбежно оборачивалось отрицанием ее объективности как научной дисциплины, утверждением ее социальной бесполезности.

---

<sup>1</sup>Эпистемология – принятое в американской научной литературе понятие для обозначения теории познания, равнозначное утвердившемуся в отечественной науке термину "гносеология".

Чтобы верно оценить значение исторического релятивизма, его необходимо включить в более широкие рамки, а именно – в рамки той общей духовной атмосферы, которая с конца прошлого столетия стала утверждаться по обе стороны Атлантики, но прежде всего в Западной Европе, и которая характеризовалась сильными релятивистскими настроениями в самых разных сферах науки и культуры. Назовем в первую очередь совершившуюся на рубеже столетия революцию в физике; одним из ее последствий стал радикальный пересмотр самого представления о природе научного знания. Широкая экстраполяция принципов теории относительности и квантовой механики далеко за пределы физики привела к необратимой эрозии позитивистской парадигмы науки, а с ней вместе и позитивистского понимания научной истины как однозначно трактуемого результата свободного от каких-либо вненаучных целей познавательного процесса. Отметим, наконец, широкое распространение с конца прошлого столетия в Европе авангардистских течений в литературе и искусстве, знаменовавшее крушение твердых норм XIX в. и в этих сферах<sup>2</sup>.

В этом же русле шла релятивизация исторической науки, начало которой было положено в различных течениях европейской, в особенности немецкой, философско-исторической мысли, разрабатывавших с конца прошлого столетия проблему субъектно-объектных отношений в процессе исторического познания. Американские релятивисты сделали следующий шаг на этом пути, способствуя включению исторической дисциплины в общий интеллектуальный климат эпохи. Говоря словами американского историка исторической науки Г. Барнса, их выводы "столь же радикально подрывали краеугольные понятия Ранке и его последователей, как Эйнштейн, Планк, Шредингер и Гейзенберг подорвали старую физику от Ньютона до Гельмгольца"<sup>3</sup>.

Несомненной заслугой релятивизма стало окончательное развенчание идеи "тотальной объективности" исторической науки, а вместе с тем и преодоление ее методологической неискренности, основательная разработка исторической эпистемологии. При этом было сделано немало метких наблюдений о социальной природе ранкеанского объективизма, как и исторического познания в целом. Особенно важно подчеркнуть, что корифеи американского релятивизма отнюдь не были чистыми методологами. В истории исторической науки их место не в меньшей мере определяется вкладом в изучение ключевых проблем американского прошлого в рамках "прогрессистского" направления американской историографии.

В то же время релятивизм никогда не являлся безраздельно господствующим методологическим подходом в американской историографии. Даже в 30-е годы, когда популярность взглядов Ч. Бирда и К. Беккера достигла своего пика, в американской философско-исторической литературе сохранялись активные приверженцы традиционных объективистских представлений о природе исторического познания, критиковавшие с этих позиций исторический релятивизм, – М. Мандельбаум, А. Лавджой, Ю. Баркер.

Эта критика приобрела особенно широкий размах и ожесточенность в конце 40–50-х годов, когда, по образному выражению П. Новика, релятивизм стал первой жертвой "холодной войны". Не вдаваясь в детали, подчеркнем лишь, что она целиком шла в русле тех перемен в послевоенной американской историографии – антипрогрессистская реакция, возрождение идеи консенсуса в исто-

---

<sup>2</sup>Novick P. That Noble Dream. The "Objectivity Question" in the American Historical Profession. Cambridge, 1988, p. 133–139.

<sup>3</sup>Barnes H.E. A History of Historical Writing. Norman, 1938, p. 268.

рии США, так называемая "идеологическая мобилизация" американских историков, преследование инакомыслящих и т.п., — которые однозначно могут быть охарактеризованы как наступление реакции. Релятивизм безоговорочно осуждался за якобы присущие ему аморальность и оправдание тоталитарных режимов<sup>4</sup>.

Политически дискредитированный релятивизм надолго утратил свое значение ведущего методологического подхода к изучению истории. Не благоприятствовала ему и начавшаяся в 60-е годы сциентизация американской историографии, способствовавшая развитию в ней неообъективистских тенденций. Теоретическое обоснование эти тенденции получили в рамках аналитической философии истории, а шумная дискуссия об "охватывающем законе" возвестила о своеобразном ренессансе позитивистских идей, затронувшем широкий спектр общественных и гуманитарных дисциплин, в частности историю<sup>5</sup>.

Новый всплеск релятивистских настроений в американской историографии приходится на 70-е годы. Но это не было простой реанимацией релятивизма 30-х. Облик новейшего релятивизма складывался под могущественным влиянием своего времени и отразил некоторые его существенные черты. Это — время широкого разочарования "крайностями" сциентизации и связанного с ним обращения к нарративу как наиболее адекватной форме исторического изображения. Отсюда — пристальное внимание к вопросам языка исторического повествования, его стиля. Не случайно знаменем нового релятивизма стала "Метаистория" Х. Уайта, обосновывавшая "неустранимо поэтическую природу деятельности историка"<sup>6</sup>. Исходя из убеждения о царящей в истории "концептуальной анархии", автор постулировал здесь положение о принципиальной равноценности "стратегий интерпретации", которые может применять историк, руководствуясь исключительно собственными моральными и эстетическими приоритетами, к тому же рационально не осознанными.

Книга Уайта вызвала оживленную дискуссию как в США, так и по другую сторону Атлантики. И хотя при этом обнаружился большой разброс мнений, следует согласиться с немецким методологом Й. Рюзенем, охарактеризовавшим ее как "поворотный пункт в современной дискуссии об основах исторической науки, поскольку здесь взгляд на нарративную структуру исторического познания был развит в теорию историописания, которая объясняет историческое познание как конкретную, лингвистическую структуру"<sup>7</sup>.

"Вызов риторического релятивизма"<sup>8</sup> стал характерной чертой современной историографической ситуации, определяя одну из ведущих ее тенденций. Новейшее свидетельство тому — уже цитировавшаяся книга профессора Чикаг-

<sup>4</sup> Очерк развития американской исторической мысли в 30–50-е годы см.: *Novick P.* Op. cit., p. 250–319.

<sup>5</sup> См. *Кон И.С.* К спорам о логике исторического объяснения (схема Поппера — Гемпеля и ее критики). — *Философские проблемы исторической науки.* М., 1969.

<sup>6</sup> *White H.* *Metahistory: The Historical Imagination in Nineteenth Century Europe.* Baltimore—London, 1973, p. XI. Об этом см. *Мучник В.М.* Об антисциентистских тенденциях в западной историко-теоретической мысли 70–80-х годов. — *Методологические и историографические вопросы исторической науки,* вып. 19. Томск, 1990.

<sup>7</sup> *Rüsen J.* *Geschichtsschreibung als Theorieproblem der Geschichtswissenschaft. Skizze zum historischen Hintergrund der gegenwärtigen Diskussion.* — *Formen der Geschichtsschreibung.* München, 1982, S. 31.

<sup>8</sup> *Iggers G.G.* *Handbook of Historical Studies. Contemporary Research and Theory.* Westport (Conn.), 1979, p. 25.

ского университета П. Новика, характеризующая идею объективности как "прекрасную иллюзию", недостижимую в реальной историографической практике.

Свое крайнее выражение эта тенденция получила в американской интеллектуальной истории в форме так называемого деконструкционизма, основанного на разработанном французскими постструктуралистами — Ж. Деррида и др. — принципе деконструкции. Определяя эту последнюю как "активное разоблачение и разрушение звукового письма", "репрессивный" процесс в отношении первоначального письма, реализующего первичные различия вещей, Деррида видит задачу исследователя в том, чтобы, отбросив авторские и привнесенные историей смыслы, восстановить "в текстах изначальные, погребенные под разными наслоениями языка следы социальной практики, определяющие внутреннюю логику построения звукового письма, глубокие закономерности политического, "репрессивного" производства истины"<sup>9</sup>.

Применительно к историографической практике рассматриваемый принцип получил сугубо релятивистски-презентистскую интерпретацию. Он постулирует признание всякого текста "эпистемологически неадекватным", так как его изучение является конструированием прошлого, его перекраиванием ради настоящего<sup>10</sup>. Отрицается объективное значение как текста, с помощью которого историк изучает прошлое, так и самого прошлого. Ибо, справедливо подчеркивает непримиримый критик исторического деконструкционизма профессор Нью-Йоркского университета Гертруда Химмельфарб, "деконструкция означает освобождение текста от конструктов, которые традиционно придавали ему значение, начиная с намерения автора, так сказать, авторского голоса". Соответственно этому сам текст провозглашается "недетерминированным, так как язык не отражает реальности или не соответствует ей"<sup>11</sup>.

Другим грехом деконструкционизма является органически присущий ему антиисторизм. Утверждая, что нет ничего вне текста, требуя его освобождения от "тирании контекста" — контекста событий, идей, условий, деконструкционисты тем самым порывают с основополагающим принципом исторического подхода к изучению явлений общественной жизни в их объективной данности. Такому подходу противопоставляется откровенно презентистская установка, последовательно отвергающая объективное значение прошлого.

Обосновывая ее, один из самых решительных приверженцев деконструкционизма в интеллектуальной истории Д. Харлан усматривает в ней альтернативу "радикальному контекстуализму", настаивающему на том, что определенный текст может быть понят только будучи помещенным в исторически специфический контекст публичной дискуссии, в которой он был создан. Сущность этой альтернативы заключается в последовательном проведении презентистского подхода к прошлому, заведомо отвергающего любую попытку выяснить объективный смысл изучаемого текста, не говоря уже о воссоздании намерений его автора<sup>12</sup>.

Так достигается абсолютная релятивизация историописания, которое сводится к простой функции современности, имеющей сугубо инструментальное зна-

---

<sup>9</sup>См. Некрасов С.Н. Принцип деконструкции и эволюция постструктурализма. — Вопросы философии, 1989, № 2, с. 57, 58.

<sup>10</sup>Walzer M. Exodus and Revolution. New York, 1985, p. X.

<sup>11</sup>Himmelfarb G. Some Reflections on the New History. — The American Historical Review, v. 94, 1989, N 3, p. 665.

<sup>12</sup>Harlan D. Intellectual History and the Return of Literature. — The American Historical Review, 1989, v. 94, N 3, p. 596—598.

чение, т.е. обслуживание ее сиюминутных потребностей. Современность, по убеждению Харлана, пытается историю: "Мы должны заставить ее отвечать на наши вопросы. Наши вопросы, вызванные нашими потребностями, сформулированными в наших терминах"<sup>13</sup>.

Действительно, каждое настоящее задает свои вопросы прошлому, и способность исторической науки давать удовлетворительные ответы на них в значительной степени определяет ее положение в обществе. Однако, во-первых, этой способности никак не исчерпываются социальные функции истории, а во-вторых, и это главное, сама она зависит от того, насколько глубоко история может осмысливать прошлое, раскрывать его взаимосвязи с настоящим. Иными словами, она зависит от научности истории, разработанности и эффективности ее методологического инструментария, позволяющего извлекать из прошлого знания, полезные для настоящего. А это в свою очередь предполагает в качестве необходимой предпосылки признание объективности самого прошлого, проявляющегося в определенной детерминации явлений общественной жизни, воплощающей связь прошлого и настоящего.

Однако Харлан как раз отрицает и детерминированность прошлого, и правдоподобие исторического изображения, и даже необходимость для историков "иметь формализованную широко принятую систему исследовательских процедур"<sup>14</sup>. Очевидно, что понимаемая таким образом история может предложить лишь сугубо презентистское истолкование прошлого. Но отсюда следует, что настоящее не только формулирует вопросы к прошлому, но и, по существу, предопределяет на них ответы. Отрицая объективность прошлого, провозглашая его недетерминированным, историк навязывает ему свою собственную детерминацию. Обращение принципа деконструкции к изучению интеллектуальной истории, следовательно, не только ведет к абсолютной релятивизации исторической истины, но и разрушает весь традиционный образ истории как дисциплины, реконструирующей прошлое в его наиболее существенных чертах. Да и сам Харлан призывает к созданию "другого рода интеллектуальной истории", занимающейся "не реконструкцией прошлого", а таким изучением "ценных трудов из прошлого", чтобы они могли "рассказать нам о нашем настоящем"<sup>15</sup>.

Вместе с тем было бы ошибочным видеть в релятивизме и тем более в его крайних формах, как деконструкционизм, доминирующую тенденцию в развитии современной американской историографии. По-прежнему в ней существует сильная объективистская традиция (которую Новик определяет как "нео- или гиперобъективизм"), представленная такими известными именами, как О. Хэндлин, П. Гэй, Г. Химмельфарб<sup>16</sup>. Даже в сфере интеллектуальной истории, ставшей своеобразным полигоном для опробования деконструкционистских идей в историографической практике, можно назвать лишь единичные работы<sup>17</sup>, никак не определяющие общий облик этой дисциплины<sup>18</sup>.

---

<sup>13</sup>Ibid., p. 608.

<sup>14</sup>Ibid., p. 608-609.

<sup>15</sup>Ibid., p. 609.

<sup>16</sup>Novick P. Op. cit., p. 606-611.

<sup>17</sup>Помимо цитированной книги М. Вальцера также см.: Chomsky N. *Cartesian Linguistics*. New York, 1966; Diggins J. *The Bard of Savagery: Thorstein Veblen and Modern Social Theory*. New York, 1978.

<sup>18</sup>Признание этого см.: Harlan D. Op. cit., p. 594.

Поэтому уместнее говорить о традиционной дискуссии между релятивистами и объективистами как выражении того стремления к самоанализу, которое известный английский историк Дж. Элтон в своей содержательной рецензии на книгу Новика характеризует как "часть американской культуры"<sup>19</sup>. Вследствие этого представляется, что наиболее плодотворным подходом к оценке эпистемологических дискуссий в современной американской историографии будет не столько выяснение того, какая сторона набирает в них очки, сколько стремление приблизиться к пониманию в свете этих дискуссий историко-культурного значения релятивизма.

Начнем с того, что с точки зрения современных научных знаний не совсем корректно абсолютное противопоставление понятий "объективист" и "релятивист", ибо релятивизм стал неотъемлемым элементом современной историографической культуры, обуславливая известную "скромность" исследователя, его отказ от излишней самонадеянности в своих познавательных усилиях, как и в возможностях исторической науки в целом. Ведь даже такой убежденный объективист, как Элтон, именно с релятивизмом связывает переход исторической профессии от ее детства к отрочеству, когда пришло понимание "невозможности знания всей правды"<sup>20</sup>.

Другое дело, что, как тут же не без иронии добавляет Элтон, слишком много историков никак не могут расстаться с отрочеством, продолжая пребывать на позициях крайнего релятивизма, угрожающего самим основам существования исторической науки, ибо присущая ему разрушительная сила чревата самоликвидацией истории как особой научной дисциплины.

В последней главе книги Новика рисуется впечатляющая картина глубокого кризиса американской историографии. По убеждению автора, это – состояние распада истории как целостной дисциплины. "Как широкое сообщество ученых, объединенных общими целями, общими стандартами и общими намерениями, дисциплина истории, – заявляет Новик, – перестала существовать"<sup>21</sup>.

Оставим пока в стороне вопрос, насколько это утверждение соответствует действительности. Подчеркнем другое: перед нами выраженная релятивистская интерпретация историографической ситуации, поразительно напоминающая по своей методологической посылке знаменитое послание президента Американской исторической ассоциации К. Беккера "Каждый сам себе историк" (1932 г.). Приводимое Новиком библейское изречение: "В эти дни не было царя в Израиле: каждый делал то, что считал правильным", служащее ему для характеристики современного состояния американской историографии, могло бы стоять в качестве эпиграфа к рассуждениям Беккера о невозможности существования объективной научной истории. Ибо, утверждал он, каждый создает собственную историю, являющуюся неустойчивым изображением предмета воспоминаний, приспособленным к интересам тех, кто ею пользуется, а следовательно, одной из бесчисленного множества других историй, написанных с иных позиций. В итоге же то прошлое, которое конструируют люди, является "частично истинным, частично ложным: как целое оно не истинно и не ложно, а только наиболее удобная форма заблуждения"<sup>22</sup>. О какой же целостности исторической дисциплины

---

<sup>19</sup> *Journal of Economic History*, 1989, v. 59, N 3, p. 775.

<sup>20</sup> *Ibid.*, p. 777.

<sup>21</sup> *Novick P. Op. cit.*, p. 628.

<sup>22</sup> *Becker C. Everyman His Own Historian. – The American Historical Review*, 1932, v. 37, N 2, p. 221–236.

лины можно здесь говорить, коль "всяк сам себе историк", руководствующийся в своей деятельности намерениями, далекими от научного познания прошлого?

Так прослеживается связь между крайним релятивизмом и современными жалобами на саморазрушение исторической дисциплины<sup>23</sup>. Последнее неизбежно вытекает из первого. Это, по-видимому, хорошо осознал уже Бирд, пытавшийся найти противоядие от разрушительных потенций релятивизма. Признавая, что вся писаная история является "относительной ко времени и обстоятельствам, мимолетным призраком, иллюзией", он все же полагал, что абсолютный релятивизм может быть ограничен, хотя и искал эти ограничители в сфере субъективных переживаний историка. Спасением от релятивизма он считал веру историка, определяющую его выбор одной из глобальных концепций, под которые он должен подвести изучаемые явления<sup>24</sup>.

Представляется, однако, что имеются более надежные ограничители абсолютного релятивизма, корнящиеся в самой природе исторического познания, содержащего определенные объективные критерии получения достоверного научного знания. Всю историю нашей науки можно рассматривать как поступательный процесс накопления такого знания, имеющего общезначимый характер и являющегося с помощью общепринятых технических процедур доказуемым, проверяемым и непротиворечивым.

В полной мере это относится, конечно, и к американской историографии. Следует поэтому согласиться с Дж. Клоппенбергом, который в полемике с Новиком, нарисовавшим, как мы видели, весьма неприглядную картину современного состояния американской исторической дисциплины, заявляет, что перспектива кажется ему "менее мрачной. Нам нет нужды выбирать между абсолютным диктатом фактов и анархией идиосинкразических интерпретаций, как предполагает библейский образ, выдвинутый Новиком"<sup>25</sup>.

Обосновывая это положение, Клоппенберг утверждает, что все развитие американской философско-исторической мысли, по крайней мере в лице ее ведущих представителей, шло по ту сторону объективизма и релятивизма. Конечно, это утверждение грешит преувеличениями и натяжками, когда, например, всячески размывается, с одной стороны, релятивизм Беккера и Бирда, а с другой — объективизм их главного обличителя в первые послевоенные годы С.Э. Морисона<sup>26</sup>. Да и новейшая американская литература являет пример диаметрально противоположных подходов к проблеме исторического релятивизма, между которыми едва ли возможен какой-либо компромисс. Об абсолютном релятивизме, выступающем в интеллектуальной истории в форме деконструкционизма, уже говорилось. Столь же абсолютным является его полное отрицание в книге А. Блума, обвиняющего ведущих представителей релятивизма от Бирда и Беккера до "учеников Дерриды и других постструктуралистов" в "отходе от традиционной веры в трансисторические, транскультурные абсолюты, на кото-

---

<sup>23</sup>В этих жалобах П. Новик отнюдь не одинок в новейшей американской историографии. См., например: *Handlin O. Truth in History. Cambridge (Mass.) — London, 1979, p. 8–26, 158; Sonnichsen S.S. The Ambidextrous Historian. — University of Oklahoma Press, 1981, p. 3–4; Curtin Ph. Depth, Span and Revelance. — The American Historical Review, 1984, v. 89, N 1, p. 2; Hamerow T.S. Reflections on History and Historian. Madison, 1987, p. 6–10.*

<sup>24</sup>*Beard Ch. Written History as an Act of Faith. — The Philosophy of History in Our Time. New York, 1959, p. 148–151.*

<sup>25</sup>*Kloppenberg J.T. Objectivity and Historicism: A Century of American Historical Writing. — The American Historical Review, 1989, v. 84, N 4, p. 1029.*

<sup>26</sup>*Ibid., p. 1019–1021.*



рых основана западная цивилизация, и классических американских добродетелей”<sup>27</sup>.

Тем не менее Клоппенберг, несомненно, прав, выступая против жесткой и, в сущности, бесплодной дихотомии объективизма и релятивизма как не соответствующей современным историческим реалиям. В этом плане особый интерес представляет его оценка новейших явлений в эпистемологических подходах американских историков, в которых он усматривает альтернативу этой дихотомии, определяя ее вслед за Т. Хаскеллом как “умеренный историзм”<sup>28</sup>.

Речь идет о подходе, бесповоротно отвергающем самодовольные претензии на непогрешимость наших знаний, но вместе с тем ориентированном на получение достоверного изображения прошлого как главной цели познавательных усилий историков. Весьма существенным при этом является признание поступательного характера исторического познания, предполагающее наличие некоторых жестких стандартов его научности. “Благодаря комбинации воображения, техники и старания, — подчеркивает Клоппенберг, — историки собрали твердые данные, делающие теперь невозможными некоторые версии прошлого, когда-то считавшиеся истиной. Только в этой области верифицируемого могут состояться интерпретации, которые выдержали проверку сообщества профессиональных историков”. Именно поэтому реальная историографическая практика и воплощает в себе альтернативу “умеренного историзма”. Ибо, продолжает американский ученый, “по ту сторону мечты о научной объективности и кошмара абсолютного релятивизма лежит область прагматической истины, которая обеспечивает нас гипотезами, предварительными синтетами, рожденными воображением, но подтвержденными интерпретациями, а также базисом для непрерывающегося исследования и экспериментирования. Такое историописание может обеспечить знание, являющееся полезным, даже если оно должно быть экспериментальным”<sup>29</sup>.

Разумеется, прагматическая истина имеет статус частной истины, по самой природе своей никак не претендующей на всеобщую значимость и тем более исключительность. Это всего лишь версия происшедшего, но версия, убедительно мотивированная историческими источниками, непротиворечивая в своих основных элементах, способная органически включить рассматриваемое явление в общий исторический контекст. Другими словами, отказ от “прекрасной мечты” вовсе не равнозначен отрицанию принципиальной возможности адекватного изображения исторической действительности. И хотя такое изображение не может быть зеркальным отражением или даже простой реконструкцией прошлого, оно тем не менее способно прояснить определенные существенные черты изучаемого явления и в этом смысле является истинным.

О том, что в современной американской историографии имеется достаточно широкий консенсус относительно природы исторического знания, свидетельствует то обстоятельство, что даже некоторые постструктуралисты в известном противоречии с исходными принципами деконструкционизма признают возможность получения истинного изображения прошлого. Таков ход рассуждений одного из самых решительных критиков идеи исторической объективности Харлана. Он убежден, что “нет ни объективных фактов как универсальных истин,

---

<sup>27</sup>Bloom A. *The Closing of the American Mind*. New York, 1987, p. 147–148, 126–127.

<sup>28</sup>Kloppenberг J.T. Op. cit., p. 1026–1027. Cp. Haskell T.L. *The Curious Persistence of Rights Talk in the Age of Interpretation*. — *Journal of American History*, 1987, v. 74, N 3, p. 986.

<sup>29</sup>Kloppenberг J.T. Op. cit., p. 1029–1030.

ни постоянных оснований; есть только бесконечное умножение новых перспектив, непрестанное увеличение непредсказуемых интерпретаций". Тем не менее, продолжает он, "утверждать, что нет универсальной истины, не значит утверждать, что нет частной истины"<sup>30</sup>. И хотя здесь не поясняется, о какой частной истине идет речь, важна сама постановка вопроса, намечающая возможность склоняться к "умеренному историзму" даже твердокаменных приверженцев постструктурализма.

В еще большей степени основанием для такого консенсуса служит радикальное переосмысление самого понятия исторической объективности, полностью порывающее с ранкеански-позитивистским идеалом, отождествлявшим ее с политической индифферентностью историка. "Объективность не есть нейтральность", — заявляет один из крупнейших современных американских методологов Т. Хаскел. Он подчеркивает не только ее совместимость с политическими обязательствами историка, но и плодотворность этих последних для исторического познания ("хорошая история может быть написана и обычно пишется политически ангажированными учеными"). Другое дело, что эта ангажированность должна иметь свои границы. Формулируя их, Хаскел указывает на недопустимость ее превращения в политическую пропаганду средствами истории и соответственно на необходимость подчинения политических приоритетов интеллектуальным. Решающими критериями объективности историка провозглашаются его беспристрастность, обязанность входить в систему взглядов оппонента, способность к самоконтролю и самодисциплине<sup>31</sup>.

Развивая свою концепцию объективности, Хаскел неоднократно высказывает убеждение, что она отражает общее отношение американских историков к этой проблеме, что даже Новик, с чьим отождествлением объективности и нейтральности полемизирует автор, вопреки собственной риторике осуществляет в своей книге историографический анализ с несомненно объективистских (в хаскеловском понимании этого слова) позиций. Речь, таким образом, идет о том, что "умеренный историзм" претендует быть выразителем на теоретическом уровне реальной историографической практики.

Здесь мы подходим к главному вопросу, интересующему историка: в какой мере теоретическая позиция "умеренного историзма" действительно адекватна историографической практике, насколько прокламируемая американскими методологами "эпистемологическая скромность" способствует познанию прошлого, укрепляет нашу уверенность в возможности получения достоверных исторических знаний? Ведь и Хаскел, и его многочисленные единомышленники трактуют проблему исторической объективности преимущественно в морально-этическом плане, отвергая в принципе претензии на обладание вечными, непогрешимыми истинами и вневременными абсолютами, способствующими их достижению<sup>32</sup>. В этой трактовке речь скорее идет об объективности подхода к изучению прошлого, чем об объективности результатов такого изучения. Показательным примером может служить цитирувавшаяся статья Хаскела, детально обосновывающая сущность этого подхода, но практически не затрагивающая

<sup>30</sup> Harlan D. Reply to David Hollinger. — *The American Historical Review*, 1989, v. 94, N 3, p. 625.

<sup>31</sup> Haskell T.L. Objectivity is not Neutrality: Rhetoric vs. Practice is Peter Novick's that Noble Dream. — *History and Theory*, 1990, v. 29, N 2.

<sup>32</sup> Новейшее свидетельство этому см.: Matthews F. The Attack on "Historicism": Allan Bloom's Indictment of Contemporary American Historical Scholarship. — *The American Historical Review*, 1990, v. 96, N 2, p. 446.

вопроса о природе исторического знания, получаемого с его помощью. Более того, в русле "умеренного историзма" провозглашается неразрывная связь объективного подхода и скептицизма, ибо "стремление к объективному знанию... неизбежно вызывает скептицизм и не может опровергнуть его, но должно следовать под его тенью"<sup>33</sup>.

В попытке выяснения влияния этих методологических позиций на историографическую практику обратимся к получившей широкую известность книге профессора Принстонского университета Натали Земон Дэвис "Возвращение Мартена Герра" (1983 г.). Ставшая своеобразным историческим бестселлером 80-х годов, книга вызвала оживленную дискуссию, в которую активно включилась сама Дэвис с целью объяснения и дальнейшего обоснования своего исследовательского метода. Внимательно присмотримся к этому методу, так как он, по существу, представляет собой реализацию принципов "умеренного историзма" в конкретном историческом исследовании.

Действительно, в полном соответствии с ними Дэвис, обосновывая свою версию драматических событий, разыгравшихся в середине XVI в. в небольшой южнофранцузской деревне, не претендует на ее непогрешимость. Это, как она неоднократно подчеркивает, именно версия, вытекающая из некоторой суммы исторических вероятностей, находящих обоснование в соответствующих источниках. "То, что я хочу вам предложить, – пишет она, обращаясь к своим читателям, – отчасти моя гипотеза, прочно увязанная с тем, что мне поведали голоса прошлого"<sup>34</sup>.

Напомним кратко фабулу событий, получивших известность как "история Мартена Герра". В 1548 г. зажиточный крестьянин расположенной во французских Пиренеях деревни Артига неожиданно покинул свой дом, оставив молодую жену Берtrandу и только что родившегося сына, и исчез на долгие годы. Спустя восемь лет в этой деревне объявляется ловкий мошенник, житель соседней провинции Арно дю Тиль, по прозвищу Пансет ("Брюхо"), и выдает себя за исчезнувшего Мартена. Ему удается убедить в этом всех жителей деревни, включая родственников Мартена и даже Берtrandу. Через несколько лет обман раскрывается, возвращается подлинный Мартен Герр. Пансет по приговору Тулузского суда был повешен. Вскоре после этого история Герра была описана в двух книгах, в том числе "Достопамятном приговоре", принадлежавшем перу судьи на Тулузском процессе, видного юриста XVI в. гуманиста Жана де Кора, впоследствии послужила основой для различных литературных произведений, кинофильма и даже оперетты.

Таким образом, Дэвис не является первооткрывательницей этого сюжета. Она "всего лишь" предложила собственную версию его, заключающуюся в том, что к отношениям между Арно дю Тилем и жителями Артига нельзя однозначно применять термины "обманщик" и "обманутые". В действительности их реакция на появление Арно в качестве Мартена Герра была гораздо более сложной, представляя собой причудливую смесь реакций обманутых, обманывающих или молчаливых. Главное же – Берtrand была не простодушной дурочкой, обманутой ловким проходимцем, а фактически его сознательной и умелой сообщницей.

Эта версия получает в книге разностороннее обоснование. Тем более неожиданным для читателей, успевших попасть под очарование авторской аргумента-

---

<sup>33</sup> Nagel T. The View from Nowhere. New York, 1986, p. 67.

<sup>34</sup> Дэвис Н.З. Возвращение Мартена Герра. М., 1990, с. 16.

ции, является заключительный пассаж книги. "История Мартена Герра, — завершает Дэвис свое исследование, — ... даже для историка, пытающегося разгадать ее смысл, по-прежнему предстает во всей своей непроницаемой жизненности. Думаю, мне удалось раскрыть подлинные черты минувшего... или Пансет провел меня опять?"<sup>35</sup>

Но так ли уж неожидан этот пассаж? Конечно, для читателя, убежденного в том, что задача исторического исследования заключается в достижении непогрешимой истины, исключающей всякую другую версию как ненаучную, такая "эпистемологическая скромность" будет непонятной. Ведь она не признает однозначного прочтения прошлого и существования одной-единственной верной версии его, делающей невозможным какое-либо сомнение автора в полученных им результатах. Ибо такое сомнение означает — если исходить из существования единственно верной, неопровержимой истины — творческую неудачу исследователя, его неспособность убедительно обосновать свое видение прошлого. Но так ли это? Предоставим слово самой Дэвис, используя ее полемику с историком из Арканзасского университета Р. Финлеем, выступившим с развернутой критикой концепции "Возвращения Мартена Герра" с позитивистски-буквалистских позиций<sup>36</sup>.

"Финлей, — подчеркивает Дэвис, — видит вещи в ясных, простых очертаниях; он жаждет абсолютной истины, недвусмысленно установленной определенно выраженными словами; он делает моральные оценки в терминах добра и зла"<sup>37</sup>. Этому всезнайству, апеллирующему к букве источника как единственному аргументу, Дэвис противопоставляет свое понимание исторической истины и путей ее достижения, основывающееся на признании ограниченной, вероятностной природы исторического знания. Отсюда вытекает значение декларируемого исследователем сомнения как познавательного принципа. Но сомнения, не расслабляющего волю исследователя, обесценивающего его познавательные усилия, а оплодотворяющего эти усилия, носящего явно выраженный созидательный характер.

Так, сомнение в содержащейся в судебном отчете характеристике Бертранды как простодушной жертвы ловкого мошенника подвигло Дэвис к комплексному анализу обширного круга источников, раскрывающих духовный мир французской крестьянки XVI в., ее ментальность. Благодаря этому ей удалось убедительно обосновать свое понимание личности и мотивов поведения Бертранды, радикально расходящееся с тем, какое было зафиксировано в судебном приговоре. "Простодушная жертва" превращается под пером Дэвис в расчетливую женщину, не только сознательно пошедшую на сговор с самозванцем, но и всячески помогающую ему в его обмане.

Подчеркнем, что такое перевоплощение достигается не в результате привлечения новых источников, меняющих представление о фактической канве событий, а исключительно благодаря реинтерпретации давно известных данных, позволяющей по-иному осмыслить сами эти события. На первый план выступает исследование мотивов поступков героев этой истории и прежде всего, конечно, Бертранды, так как от ее поведения в решающей степени зависели успех или неудача всего предприятия Арно дю Тилиа. Но обращение к мотивам неизбежно предполагает вступление исследователя на достаточно зыбкую почву более или

<sup>35</sup> Там же, с. 183.

<sup>36</sup> Finlay R. The Refashioning of Martin Guerre. — The American Historical Review, 1988, v. 93, N 3, p. 553–571.

<sup>37</sup> Davis N.Z. On the Lame. — The American Historical Review, 1988, v. 93, N 3, p. 574.

менее вероятностных предположений, далеко не всегда могущих быть строго верифицированных историческими источниками.

В то же время интуиция автора, помогающая конструировать мотивы поведения персонажей "деревенской истории", как бы раздвигает фактологическую основу повествования, не только расширяя объем достоверного знания о событиях, происходивших в далекой французской деревне, но и дополняя и уточняя наши общие представления об этой эпохе и ее людях, причем как раз о тех, чьи деяния, образ жизни и в особенности чувства редко попадают на страницы исторических исследований.

Таким образом, реконструкция прошлого обогащается "конструированием" его, что, разумеется, существенно усложняет проблему объективности в истории, поскольку в познавательный процесс в качестве неотъемлемого элемента вводится понятие вероятностного знания. Не верифицируемое источниками, оно не может претендовать на ранг объективно-истинного в традиционном позитивистском смысле.

В этом смысле историческая объективность действительно остается "прекрасной мечтой". Но, как мы пытались показать на примере книги Дэвис, принципы "умеренного историзма" не только не подрывают усилий историков в их вечной погоне за истиной, но и открывают новые возможности в их поисках. Другое дело, что меняется природа этой истины. Из однозначно непреложной, раз навсегда данной она превращается в многовариантную, изменчивую. Это истина-гипотеза, истина-версия, претендующая на правдоподобное воспроизведение прошлой действительности, однако не чуждая сомнению, ибо включает в себя не только реконструкцию прошлого, но и его конструирование, а следовательно, не исключающая нацело существования других версий, так же правдоподобно объясняющих прошлое. Такой подход может, конечно, рассматриваться как уступка релятивизму. Но нельзя не согласиться с теми американскими авторами, которые связывают с ним магистральный путь развития исторической дисциплины, отвечающий современным общенаучным представлениям о природе познавательной деятельности человека<sup>38</sup>.

Обращение к исследовательской практике американских историков поучительно и в другом отношении. Оно позволяет прояснить те или иные методологические понятия, раскрывая их реальное историографическое содержание. Своеобразная историографическая интерпретация этих понятий, как правило, снимает присущие им эпистемологические крайности, способствуя тем самым более адекватному пониманию их действительного значения для исторической дисциплины. Подобная "корректировка" должна в особенности приниматься во внимание, когда речь идет о понятиях, характеризующих природу исторического познания, подлинный смысл которых может быть установлен только с учетом их интерпретации в исследовательской практике.

В полной мере это относится к понятиям, релятивизирующим историческое познание, таким, например, как широко известное "всякая настоящая история является современной историей". Это положение, сформулированное Б. Кроче, как и связанное с ним заключение, что "каждое поколение заново переписывает свою историю", несомненно, звучит крайне релятивистски, отвергая в принципе возможность объективного познания прошлого. В самом деле, о каком объективном познании может идти речь, если быстротекущая современность диктует не только подход к прошлому, но и его оценку? Собственно, так это положение и воспринималось в советской науке.

---

<sup>38</sup>См.: *Lewine L. W. The Unpredictable Past: Reflections on Recent American Historiography.* — *The American Historical Review*, 1989, v. 94, N 3.

Речь, таким образом, идет о фундаментальном методологическом принципе, характеризующем природу исторического познания. Присмотримся, однако, как этот принцип реализуется в современной американской историографии. Примером может служить двухтомник "Интерпретации современной истории", выдержавший за короткое время пять изданий, в которых можно проследить развитие взглядов американских исследователей на ключевые проблемы своей истории.

В книге выделяется 20 таких проблем, каждой из которых посвящен отдельный раздел, включающий краткий историографический очерк определенной проблемы и ее современный анализ с различных точек зрения. При этом при всех различиях в вопросах, представленных в этих разделах, и подходах к их освещению "одна тема, — подчеркивается в предисловии к пятому изданию, — является самоочевидной во всех: взгляд на американскую историю был постоянно изменяющимся"<sup>39</sup>. Впрочем, нас интересует не столько это достаточно тривиальное положение, сколько обоснование, которое дают ему авторы предисловия. Характеризуя причины непрерывной реинтерпретации американской истории, они выдвигают на первый план влияние на историков современной им действительности, поскольку они, явно или имплицитно, отражали в своих произведениях проблемы и пристрастия своего времени.

Это положение получает дальнейшее развитие во "Введении", где содержится емкий концептуальный очерк развития американской исторической мысли с колониальных времен до середины 80-х годов XX в. Примечательным образом он начинается с интерпретации приведенного выше положения Кроче, которое истолковывается в том смысле, что "история в отличие от простой хроники имеет значение только в той степени, в какой она задевает ответную струну в умах современников, видящих отраженными в прошлом проблемы и вопросы настоящего". Отмечая, что положение Кроче имеет особое отношение к изображению американской истории, авторы подчеркивают, что каждое поколение американцев переписывало историю своей страны так, чтобы она соответствовала его собственным представлениям, складывавшимся под детерминирующим влиянием своего времени, господствующего там общественного мнения. И "хотя имелись другие причины для этой непрерывной реинтерпретации американской истории, изменяющийся климат мнений более, чем какой-либо другой отдельный фактор, принуждал историков периодически исправлять свой взгляд на прошлое"<sup>40</sup>.

Но значит ли это, что история является простой функцией современности, по самой своей природе не способной на адекватное постижение прошлого? Всем своим содержанием рассматриваемый двухтомник дает на этот вопрос отрицательный ответ. Его авторы при всем различии их индивидуальных подходов исходят из убеждения, что "непрерывная реинтерпретация американской истории" ни в коей мере не означает непрерывного пересмотра той фактологической основы, на которой осуществляется ее истолкование. Напротив, речь идет о детерминируемой современностью смене концепций, методов, подходов, позволяющей углубить понимание прошлого, открыть его новые, неизвестные ранее исследователям пласты и тем самым увеличить сумму достоверного знания о нем. Например, движения социального протеста 60–70-х годов стимулировали интерес историков к таким группам, "которые до этого были почти не

---

<sup>39</sup> Interpretations of American History. Patterns and Perspectives. 5th Ed., v. II. New York — London, 1987, p. VII.

<sup>40</sup> Ibid., p. 1.

видимы в американской истории – черных, индейцев, женщин, бедняков и многих других”, а широкое применение квантитативной техники ”позволило новым социальным историкам осуществлять анализ исторических свидетельств из прежде недоступных источников”<sup>41</sup>.

При этом, разумеется, никто из авторов двухтомника не сомневается, что получаемые таким путем новые результаты могут претендовать на общезначимость, что, собственно, и ставит границы релятивизации историографического процесса. Конечно, эти результаты не носят характера неизблемых, вечных на все времена истин, но, отражая определенный виток движения исторической мысли, стимулированный процессами, происходящими в современном американском обществе, они способствуют более глубокому постижению прошлого, ”лучшему пониманию американской истории благодаря включению в нее социальных групп, которыми относительно пренебрегали ранее”<sup>42</sup>.

Однако это ”лучшее понимание” в силу самого своего происхождения имеет относительный характер, будучи лишь преходящим моментом в бесконечном процессе исторического познания. Новое настоящее принесет с собой новое прочтение прошлого, которое в чем-то существенно скорректирует нынешние представления о нем. А это означает признание как возможности получения достоверного исторического знания, извлекаемого из всего доступного исследователям корпуса источников, так и его относительности, ограниченности, проистекающей из самого характера взаимоотношений между познающим субъектом и познаваемым объектом.

Такой взгляд на природу исторической истины составляет характерную черту современного американского историографического сознания, отражаясь в общих подходах к исследовательской практике и оценке ее результатов. Он находит свое проявление, в частности, в том, что даже приверженцы самых радикальных подходов в ”новой социальной истории”; связанных с ее переориентацией на преимущественное изучение положения и борьбы угнетенных групп американского общества, приходят к пониманию относительности тех истин, за которые они так горячо ратуют.

Показательно в этом отношении признание видного представителя радикальной истории в США профессора Калифорнийского университета Дж. Винера. Подчеркивая, что американская радикальная история выросла в особое течение в рамках исторической дисциплины на фоне широкого движения за гражданские права и антивоенного движения как последовательная критика консенсусной истории, он вместе с тем счел нужным заключить анализ ее достижений в изучении социальных и национальных конфликтов в американском обществе указанием на относительность полученных в его итоге результатов. ”Следует сказать, – пишет ученый, – что радикальная история не представляет ”истину” в каком-либо трансцендентальном смысле; она сама является историческим продуктом”<sup>43</sup>.

Приведенные суждения, конечно, не исчерпывают всего многообразия взглядов американских ученых на проблему объективности исторического познания. Однако они указывают на важную тенденцию, характеризующую современное состояние изучения этой проблемы. При сохраняющемся разбросе мнений – в

---

<sup>41</sup>Ibid., p. 21–22. Подробнее см. разделы этого издания, посвященные изучению в американской историографии истории женщин, истории черных американцев и т.п.

<sup>42</sup>Ibid., p. 25.

<sup>43</sup>Wiener J.M. Radical Historians and the Crisis in American History, 1959–1980. – The Journal of American History, 1989, v. 76, N 2, p. 434.

нашей статье он представлен деконструкционистами, с одной стороны, и Блумом и Финлеем, с другой, — в целом происходит их заметная консолидация, выражающаяся в сближении крайних позиций. Следует особенно подчеркнуть, что это сближение имеет место не только в области историографической практики, но и на уровне теоретического мышления. И историки-конкретики, и методологи достигли значительной степени согласия в признании как способности истории давать достоверное, общезначимое знание о прошлом, так и его ограниченности целым комплексом обстоятельств, коренящихся в познавательной позиции исследователя. Не вдаваясь в требующий специального изучения вопрос о разноречивых оценках природы субъективных пристрастий историка, подчеркнем лишь, что при всех имеющихся различиях общим является убеждение в несостоятельности ранкеански-позитивистского идеала объективности, требовавшего изгнания из познавательного процесса таких пристрастий.

Иными словами, не только в историографической практике, но и в теоретических построениях многих американских методологов все более уходит в прошлое былое безоговорочное противопоставление объективизма и релятивизма. Если наивная вера в "тотальную объективность" отличала детство профессиональной историографии, а пришествие релятивизма возвестило об ее отрочестве, то, продолжая этот метафорический ряд, можно сказать, что зрелость истории как научной дисциплины проявляется в диалектическом снятии антитезы.

Это, разумеется, относится не только к американской историографии, эпистемологические дискуссии в которой достаточно показательны для отношения к рассматриваемой проблеме всего сообщества историков. Современная историография является одновременно и релятивистской, и объективистской. Она отказывается от претензии на монопольное обладание непогрешимой истиной, равно как и от постулирования "единственно верного" пути к ней. Признавая активную роль исследователя в познавательном процессе, современная историческая эпистемология отвергает ранкеански-позитивистский культ исторического факта, как и сам образ историка, далекого от мирских страстей и треволнений, творящего в башне из слоновой кости на основе твердых кирпичиков-фактов незабываемой картины прошлого. Она подчеркивает социальную обусловленность исторического познания, неизбежно релятивирующую его результаты.

В то же время историческая наука является объективистской, поскольку идея объективности продолжает сохранять регулятивное значение в историческом познании. Действительно, в сообществе историков, в особенности на уровне конкретной историографической практики, присутствует большая мера согласия относительно предпосылок, условий и характера их деятельности. Она включает в себя как область поиска и установления исторических данных, так и сферу научного метода для верификации этих данных и интерпретации изучаемых явлений в целях установления их исторического значения, а следовательно, и смысла самого прошлого, выступающего объектом исторического познания. При этом речь идет не об умозрительных конструкциях, а о реальной исследовательской практике, воплощающей поступательный рост наших знаний о человеке и истории. Без такого согласия история вообще не может претендовать на ранг научной дисциплины, а занятия ею теряют всякий разумный смысл. Но признаем вместе с этим, что получаемые нами результаты, будучи лишь одной из версий исторической истины, не могут претендовать на значение абсолютно истинных, что нет ни абсолютных фактов, ни абсолютных истин, и согласимся, что в осознание этого большой вклад внес американский релятивизм.